

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1	
Прозрачная ночь	9
ГЛАВА 2	
Сердца пылают	21
ГЛАВА 3	
Снег падает на землю Китая.....	46
ГЛАВА 4	
К солнцу	64
ГЛАВА 5	
Новая эпоха	85
ГЛАВА 6	
Мечта садовника	107
ГЛАВА 7	
С крайнего северо-востока на крайний северо-запад	130
ГЛАВА 8	
Весь мир ваш.....	143
ГЛАВА 9	
Свободнее ветра.....	153
ГЛАВА 10	
Демократия или диктатура?.....	172
ГЛАВА 11	
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».....	181

ГЛАВА 12	
Перспектива	215
ГЛАВА 13	
ФАКЕ-дизайн	235
ГЛАВА 14	
Сказка	249
ГЛАВА 15	
«Гражданское расследование»	271
ГЛАВА 16	
Нарушение спокойствия	283
ГЛАВА 17	
Праздник речного краба	306
ГЛАВА 18	
Восемьдесят один день	324
ГЛАВА 19	
Живи же как следует, в полную силу	361
 Послесловие.....	 404
Благодарности.....	409
Описания иллюстраций.....	413
Об авторе.....	417
О переводчике с китайского языка на английский ...	419
Источники иллюстраций.....	421

Городище Цзяохэ

Как караван проходит навывлет город,
гомон людской обнимает трещотки верблюдов,
Так же шумны улицы и базары,
повозки рской, коней вереницы — извивы дракона.

Но нет — великолепный дворец
уже обратился в руины.
От тысячи лет радостей и печалей
нет и следа.

Живущий — живи же как следует, в полную силу,
Не жди, что земля будет помнить*.

Ай Цин, 1980 год

* Перевод Ю. А. Дрейзис.

ГЛАВА 1

ПРОЗРАЧНАЯ НОЧЬ

*Прозрачная ночь.
...Безудержный хохот летит с края поля...
Толпа выпивох
бредет, спотыкаясь, к уснувшей деревне...**

Строки из стихотворения «Прозрачная ночь»,
написанного моим отцом
в шанхайской тюрьме в 1932 году

Я родился в 1957 году, через восемь лет после образования «нового Китая». Моему отцу было сорок семь. Пока я рос, он редко говорил о прошлом, потому что все было окутано густым туманом господствующей политической риторики и за любую попытку разобраться в фактах грозила такая расплата, о которой и подумать страшно. Чтобы соответствовать требованиям нового порядка, китайцам приходилось мириться с увяданием духовной жизни и невозможностью называть вещи своими именами.

* Перевод Ю. А. Дрейзис.

Прошло полвека, прежде чем я стал об этом задумываться. Третьего апреля 2011 года, когда я собирался сесть в самолет в аэропорту Пекина, на меня налетел рой полицейских в штатском, и следующие восемьдесят один день я провел в темнице. Будучи в заключении, я стал размышлять о прошлом — в частности, я думал о своем отце и пытался представить, каково было ему восемьдесят лет назад в тюрьме для политзаключенных. Я понял, что почти ничего не знаю об этом его суровом испытании и никогда не проявлял особого интереса к тому, что он пережил. Мое детство пришлось на время, когда от яркого, всепроникающего света государственной пропаганды наши воспоминания исчезали, словно тени. Воспоминания казались тяжелой ношей, и лучше всего было разделаться с ними раз и навсегда; вскоре люди потеряли не только желание, но и способность помнить. Когда вчера, сегодня и завтра сливаются в одно размытое пятно, память — помимо того, что она таит опасность, — вообще не имеет особого значения.

Мои детские воспоминания по большей части разрозненные. Когда я был маленьким, мир представлялся мне в виде разделенного экрана. На одной его стороне с тросточками в руках вышагивали американские империалисты в смокингах и цилиндрах, а за ними семенили приспешники: британцы, французы, немцы, итальянцы и японцы, а также гоминьдановские реакционеры, засевшие на Тайване. На другой стороне стоял Мао Цзэдун в окружении подсолнухов, символизирующих народы Азии, Африки и Латинской Америки, которые стремились к независимости и освобождению от колониализма и империализма; именно мы олицетворяли свет и будущее. На пропагандистских картинках лидера Вьетнама дедушку Хо Ши Мина сопровождали бесстрашные молодые вьетнамцы в бамбуковых шляпах, с ружьями, наведенными на пролетающие над ними американские военные самолеты. Нам каждый день рассказывали истории их героических побед над разбойниками-янки. Между двумя сторонами экрана зияла непреодолимая пропасть.

В те времена информационной изоляции личный выбор напоминал ряску на воде, зыбкую и лишенную корней. Воспоминания, не подкрепленные личными интересами и привязанностями, иссыхали, трескались и рассыпались: «Для собственного освобождения пролетариат должен сначала освободить все человечество», как тогда говорили. После всех потрясений, пережитых Китаем, от подлинных эмоций и личных воспоминаний остались жалкие крохи, а их с легкостью вытеснила риторика борьбы и перманентной революции.

К счастью, мой отец был литератором. В своей поэзии он описывал чувства, спрятанные в глубине души, пусть даже эти ручейки честности и прямоты не находили выхода, когда многочисленные политические события неслись бурным потоком. Сегодня все, что я могу, — это подобрать раскиданные повсюду обломки, оставшиеся после шторма, и попытаться сложить их в единую, хотя и неполную картину.

В год моего рождения* по воле Мао Цзэдуна разразилась политическая буря — кампания по борьбе с «правыми элементами», нацеленная на зачистку «ультраправых» интеллектуалов, критикующих правительство. Водоворот, поглотивший отца, перевернул и мою жизнь, а его последствия я ощущаю на себе по сей день. Отец был главным «правым элементом» среди китайских писателей, так что его отправили в ссылку для принудительного «трудового перевоспитания» — так пришел конец относительно безбедной жизни, которую он вел после смены власти в 1949 году. Сначала нас загнали в дикие ледяные степи у северо-восточной границы страны, а потом перебросили в город Шихэцзы, что в Синьцзяне, у подножия гор Тянь-Шань. Как лодочка, укрывающаяся от тайфуна, мы нашли там приют, пока политические ветры не сменили направление снова.

Затем в 1967 году «культурная революция» Мао вступила в новую фазу, и отец, которого теперь считали идеологом бур-

* Ай Вэйвэй родился в 1957 году в Пекине. — *Прим. ред.*

жуазной литературы и искусства, опять оказался в черном списке идеологических врагов вместе с прочими троцкистами, отщепенцами и антипартийными элементами. Мне уже было почти десять лет, и последовавшие за этим события навсегда остались в моей памяти.

В мае того года наш дом навестил один из главных революционеров-радикалов Шихэцзы. Он сказал, что отец слишком хорошо устроился, а теперь его отправят в отдаленное полувоенное производственное поселение на «перевоспитание».

Отец ничего не ответил.

«Чего смотришь, ждешь прощальной вечеринки?» — осклабился тот.

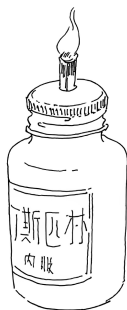
Вскоре у входной двери нашего дома затормозил армейский грузовик. Мы загрузили в кузов кое-что из простой мебели и груды угля, а поверх — скатанные в рулоны постельные принадлежности. Больше у нас ничего и не было. Начал накрапывать дождь, отец занял место на переднем сиденье, а мы со сводным братом Гао Цзянем забрались в кузов и уселись на корточки под брезентом. Пункт нашего назначения находился на окраине пустыни Гурбантунгут, которую местные называли «маленькой Сибирью».

Вместо того чтобы поехать с нами, мать решила вернуться в Пекин с моим младшим братом Ай Данем. Она провела в изгнании целых десять лет и была уже немолода, так что и думать не могла о переселении в еще более дикую глушь. Дальше Шихэцзы она уезжать не хотела. Сохранить семью не было никакой возможности. Я не стал умолять мать отправиться вместе с нами или оставить братика. Я промолчал — не попрощался и не спросил, вернется ли она когда-нибудь. Не помню, как скоро они пропали из виду, когда грузовик отъехал от дома. Мне было все равно, оставаться или уезжать, — в любом случае решать было не нам.

Грузовик мотало из стороны в сторону, пока он пробирался по этой бесконечной грунтовой дороге, усеянной ямами и промоинами, и пришлось вцепиться в раму кузова, чтобы меня не подбрасывало в воздух. Порыв ветра подхватил лежавший рядом коврик и за считанные секунды унес прочь — он исчез в облаке пыли, поднятой нашим грузовиком.

После нескольких часов ужасной тряски машина наконец остановилась на краю пустыни. Мы прибыли на место: в Синьцзянский военный производственно-строительный корпус, 8-ю сельскохозяйственную дивизию, 23-й полк, 3-е отделение, 2-ю роту. Это было лишь одно из многих подобных учреждений, появившихся в 1950-х годах в приграничных районах Китая. Цели у них было две. В мирное время работники производственно-строительного корпуса могли обрабатывать землю, культивируя ее и собирая урожай, что способствовало росту экономики страны. А если бы Китай вступил в войну с одним из соседних государств или же случились бы волнения среди этнических меньшинств, работникам предстояло военизироваться и участвовать в обороне страны. Как нам пришлось убедиться на своем опыте, такие подразделения иногда выполняли дополнительную функцию: становились домом для неугодных властям людей, выдворенных из их родных домов по всему Китаю.

Сгущались сумерки, и над чередой приземистых домиков раздавались звуки флейты. Несколько молодых рабочих стояли снаружи, с любопытством разглядывая нас. Комната, в которую нас поселили, была абсолютно пустой, за исключением двупальной кровати. Мы с отцом внесли туда маленький стол и четыре стула, привезенные из Шихэцзы. Пол был земляной, стены — из саманного кирпича с торчащими пшеничными стеблями. Я смастерил простую масляную лампу: налил керосин в пустую аптечную бутылочку, проткнул крышку и продел через нее обрывок шнура.



Мой отец был очень неприхотлив, от жизни ему требовалось только одно — возможность читать и писать. Обязанностей у него тоже было немного. Мать сама выполняла всю работу по дому, не ожидая от нас помощи. Но теперь мы остались вдвоем — отец, Гао Цзянь и я; а наша жизнь на новом месте возбуждала любопытство у других рабочих — простых «бойцов военизированной фермы», которые стали задавать бесцеремонные вопросы. «Это твой дед?» — спрашивали они меня. Или: «Скучаешь по матери?» Со временем я научился сам вести хозяйство.

Я попытался сделать печку, чтобы мы могли согреться и кипятить воду. Но печной дым выходил откуда угодно, только не из трубы, так что от всей этой возни у меня мучительно болели глаза, я задыхался, пока наконец не сообразил, что нужен свободный доступ воздуха к топке. Были и другие домашние дела: принести воду из колодца, забрать еду из столовой, подкинуть дров в печь, выгрести из нее золу. Кто-то должен был это делать, и чаще всего этим кем-то оказывался я.

Казалось, что между нашей прошлой и нынешней жизнью порвана всякая связь: ничего общего, кроме закатов и рассветов. Наше существование превратилось в бесконечный курс выживания в дикой природе, и неизвестно было, удастся ли нам выжить. Фасад здания производственной роты выходил на север, на пустыню размером со Швейцарию. Увидев ее впервые, я пришел в такой восторг,

что побежал по голому песку и остановился, только когда запыхался. Затем я распластался по земле и стал смотреть в бесконечное синее небо. Но восторг быстро прошел. Под безжалостными лучами солнца на поверхности пустыни не было ни тени: соляное плато было таким белым, что казалось покрытым толстым слоем снега. Каждый порыв горячего ветра приносил сюда верблюжьи колючки, которые вместе с песчинками соли впивались мне в кожу, как иголки.

Прошлые работников было загадочным и темным, и этот приграничный регион помогал им оставить его позади. Этих людей уже забыли в родных местах, и они жили здесь и сейчас. Многие из них принадлежали к заклеянным «пяти категориям дискредитировавших себя слоев населения» — помещикам, кулакам, контрреволюционным элементам, преступникам и «правым». Или это были дети представителей «пяти категорий», как я. Встречались отставные военные, а также молодые люди, нежелательные в родных городах, либо беженцы из нищей китайской глубинки. Здесь, по крайней мере, они могли спастись от голодной смерти, обрабатывая пустую землю и выращивая урожай, достаточный для их пропитания.

Моего отца поначалу определили в отряд лесников. Чтобы изолировать его и ограничить тлетворное влияние на других, ему приказали в одиночку подрезать деревья и выдали секатор и пилу. Высаженные в хозяйстве вязаи и лохи еще ни разу не подрезали, и они так разрослись, что напоминали скорее кустарник, чем деревья. Овцы обглодали и ободрали их стволы, а боковые ветви торчали во все стороны. Но отца новая работа вскоре увлекла — он любил деревья и радовался возможности находиться подальше от людей.

А я по утрам отправлялся на занятия, которые вел один на всю школу учитель в единственном классе, где, кроме меня, было еще шесть-семь второклассников и третьеклассников. В нашей роте не предлагали образования для детей постарше, так что мой брат Гао

Цзянь, старше меня на пять лет, ходил в среднюю школу в другом подразделении производственного корпуса — там он и жил как школьник интерната.

Когда занятия заканчивались, я брал термос и отправлялся в долгий-долгий путь к отцу. Издали я наблюдал, как он ходит вокруг дерева, подравнивая ветки то тут, то там, а потом отступает на пару шагов и проверяет, симметричны ли стороны. Когда он наконец замечал меня, ему требовалось несколько секунд, чтобы расслабиться. Помню, как однажды он вытер пот со лба, жадно глотая принесенную мной воду, а потом протянул мне отпиленную ветку вяза. Он предусмотрительно отполировал ее, убрав все сучки и неровности, так что она стала гладкой и блестящей, как древний жезл.



В центре штаба роты находилось здание актового зала с пятиконечной звездой на фасаде, поблекшей и превратившейся из ярко-алой в ржавую. Здесь, в производственном корпусе, актовый зал выполнял ту же функцию, что святилище у наших далеких предков. Такие залы теперь можно встретить повсюду в Китае: на фабриках и в коммунах, в государственных учреждениях, школах и армейских частях. Над сценой висел портрет Мао, с Марксом и Энгельсом по левую сторону, Лениным и Сталиным — по правую, с обращенными в зал лицами и устремленными вдаль взглядами.

Независимо от того, насколько тяжелым был трудовой день, каждый вечер после ужина устраивали собрание. Под ярким светом ртутной лампы 240 рабочих и члены их семей расставляли по залу табуретки и садились слушать политинформацию с анализом

политических процессов на национальном уровне. В те времена, когда политика вторгалась во все сферы жизни, человек должен был каждое утро запрашивать инструкции председателя Мао перед началом работы или учебы, а в конце дня проводился аналогичный ритуал: председателю Мао докладывали о том, как прошел трудовой или учебный день. Политрук давал указания: как нужно следовать политическому курсу, осуществлять политику партии и исполнять решения и директивы высшего руководства, а также изучать марксизм-ленинизм и маоизм. После этого начальник оценивал результаты трудового дня и распределял задания на завтра.

Обычно тех, кто попадал под «пять категорий», вызывали на сцену, где им полагалось покаянно склонить головы перед сидящими внизу. Даже если было очевидно, что мой отец присутствует, председатель все равно кричал: «Крупный правый элемент Ай Цин здесь?» Обращаясь к моему отцу, люди обычно добавляли «крупный» к слову «правый», ведь он был известным и влиятельным писателем. Однажды его даже обозвали «буржуазным романистом» — что странно, ведь прославился он все-таки как поэт. Но аудитории не было никакого дела до того, кем он был и чего достиг. Все сказанное на собрании рассматривалось как стандартная процедура и при этом в высшей степени разумная, ведь революции враги были нужны, иначе в народе зрело бы недовольство.

Когда отца вызывали, он вставал с табурета, пробирался через толпу и занимал свое место на сцене; он отвечивал низкие поклоны, каясь в преступлениях, а на его лоб падали волосы. На мгновение аудитория затихала, а потом снова погружалась в привычную беззаботность: дети носились по залу, мужчины обменивались похабными шутками, а женщины кормили грудью младенцев, или вязали, или же сплетничали, щелкая семечки.

Если начальник на сцене говорил: «А теперь пусть крупный правый элемент Ай Цин выйдет», отец поспешно выходил из зала. Он никогда не знал заранее, выпроводят его или нет. Все зависело от того, пришла ли от председателя Мао новая директива, которую

потребуется довести до аудитории. Если она приходила, то людям вроде моего отца присутствовать запрещалось.

На заре «культурной революции» директивы от председателя Мао передавали почти каждый день или каждый вечер. Ротный секретарь записывал их под диктовку по телефону слово в слово, строчку за строчкой, а потом на вечерних собраниях их публично зачитывали. Эти сообщения выполняли примерно такую же функцию, как ночные твиты Дональда Трампа в пору его президентства. Это была прямая передача мыслей лидера его преданным последователям для поддержания священного статуса его власти. В случае Китая эти заявления превосходили трамповские и требовали полного повиновения. Стоило им прозвучать, как в ознаменование мудрости Мао раздавалась разноголосица барабанов и гонгов, наполняя слушателей энергией. Здесь, как и по всей стране, такие сцены разыгрывались каждый день, и оглашение «последних» директив продолжалось еще много лет.

Как нам говорили, «культурная революция» была «новой стадией углубления и расширения социалистической революции», «революцией, трогающей людей до глубины души». Ставилась цель «низложить власть имущих, идущих дорогой капитализма, подвергнуть критике буржуазные реакционные академические “авторитеты”, равно как идеологию буржуазии и всех эксплуататорских классов, провести реформу образования, культуры, а также всех элементов надстройки, не соответствующих социалистическому экономическому базису, в интересах консолидации и развития социалистической системы». В годы моего детства повседневная жизнь была насыщена такими вычурными выражениями, и, хотя их смысл ускользал, похоже, они обладали гипнотическим, даже наркотическим эффектом. Все были ему подвержены.

Актный зал служил также и столовой. Каждый день во время трапезы отцу полагалось вставать при входе и бить в старую эмалированную миску, объявляя во всеуслышание, что он «правый элемент» и преступник. Вскоре все привыкли к этому зрелищу,

и рабочие просто проходили мимо, не замечая его, и становились в длинную очередь к окну раздачи. Им полагалось протягивать туда свою тарелку и талон на еду и цитировать председателя Мао, после чего повар накладывал порцию еды. Повар тоже произносил эту цитату в унисон, подтверждая свою приверженность делу революции. Наша жизнь была театром, и каждый на автомате играл отведенную ему роль: если бы отца не оказалось на его обычном месте у входа в столовую, это могло быть знаком приближения более серьезной беды, и люди могли встревожиться.

В те времена унылой рутины и нехватки продуктов все помыслы людей крутились вокруг кухни, пусть даже день ото дня ничего там не менялось. Каждое утро повар смешивал кукурузную муку с теплой водой и помещал тесто в решетчатый ящик площадью в квадратный метр, затем пять таких ящиков ставил в чугунный котел и полчаса держал на пару. Когда он снимал крышку, вся кухня наполнялась паром, и повар нарезал кукурузные хлебцы по вертикали и горизонтали. Получались четырехугольные куски по двести граммов. Он публично взвешивал эти кусочки, дабы продемонстрировать свою беспристрастность. Один и тот же кукурузный хлеб подавали каждый день, кроме 1 мая (Международного дня труда) и 1 октября (Дня образования КНР) — в эти праздники на хлебах появлялся тонкий слой красной глазури из сахара и, вероятно, из ююбового повидла. Если кому-то случалось обнаружить в своем хлебце кусочек ююбы, это вызывало некоторое возбуждение. Вокруг было раздолье кукурузных полей, но мы ни разу не ели свежую кукурузную кашу — только зерно из «военных запасов», которое хранилось неизвестно сколько, — от него саднило горло и несло плесенью с бензином.

Каждому из нас (отцу, Гао Цзяню и мне) полагалось только пособие в 15 юаней в месяц, что в то время составляло чуть больше 5 долларов. Так что наш совокупный месячный доход составлял 45 юаней, тогда как обычному рабочему платили 38,92 юаня. Отец курил дешевые папиросы, которые стоили пятерку за пачку и едко пахли паленой шерстью. Папироса часто гасла после пары затяжек. Из-за них в отцов-

ской военной телогрейке появилось еще больше дыр. Спички считались стратегическим ресурсом, и каждой семье выделяли по коробку в месяц. Спички частенько заканчивались раньше, и мне приходилось ходить за огоньком к соседям, чтобы разжечь печку.

Ради экономии отец перешел на табак, который выращивала наша рота. Мы скручивали трубочки из старых чеков и набивали их измельченными табачными листьями. Каждый вечер я помогал отцу скрутить около двадцати папирос и аккуратно уложить их в бело-голубую фарфоровую банку, которая неведомым образом пережила набеги хунвэйбинов на наш старый дом. Крышка с ушком была из чистого серебра, а на самой банке был изображен мостик над ручьем и мальчик-слуга с цинем, а рядом — скалистый обрыв, низко склонившие ветви ивы и домик с соломенной крышей и приоткрытым окошком. Сияние белого фарфора и синего кобальта освещало даже самый темный угол.

Когда наступала ночь и на пшеничные поля опускалась непроглядная тьма, насекомые стрекотали без умолку. Мы с отцом сидели по разные стороны столика, а масляная лампа отбрасывала на стены за нашими спинами тени — одну большую, одну маленькую. В голове у меня зачастую было так же пусто, как и в комнате, — ни фантазий, ни воспоминаний, и мы с отцом сидели, словно чужие, которым нечего сказать друг другу. Нередко я просто неотрывно смотрел на дрожащий огонек лампы.

Но иногда, когда я уже начинал клевать носом, отец погружался в воспоминания и принимался рассказывать о прошлом. Постепенно я переносился в места, где он бывал, встречал мужчин и женщин, которых он знал, и узнавал кое-что о его влюбленностях и браках. Пока он говорил, меня будто и не было рядом. Его рассказы, казалось, имели одну цель: добиться того, чтобы не иссяк поток воспоминаний. Здесь, в «маленькой Сибири», оторванность от внешнего мира сближала нас, а материальные лишения влекли за собой изобилие другого рода, что предопределило мой дальнейший жизненный путь.

ГЛАВА 2

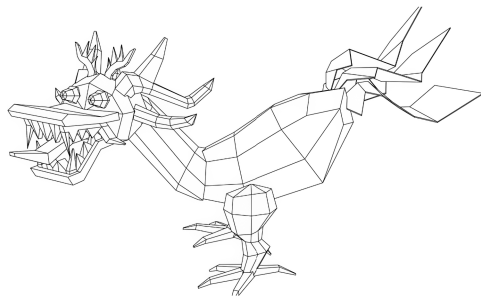
СЕРДЦА ПЫЛАЮТ

Появление моего отца на свет было непростым. Во время беременности бабушке приснился странный сон, в котором ее ребенка выбросило на берег небольшого острова посреди бушующего моря. Родственники и друзья согласились, что это дурной знак, и моя двадцатилетняя бабушка, которая тогда еще исповедовала буддизм (позже она приняла католичество), каждый день воскривала фимиам и молилась о счастливом исходе. Однако тревога не отступала. Схватки продолжались два дня и две ночи, словно испытывая ее на прочность. Но наконец за шелковым балдахином кровати, украшенной красным лаком и позолотой, раздался пронзительный крик новорожденного.

Дед уже придумал ему имя, говорящее не только о месте мальчика в череде поколений, но и о моральном авторитете и социальном статусе семьи. Подобно тому, как на лаковый сосуд крепится кусочек перламутра, имя надлежало аккуратно вписать в генеалогию семьи, и оно неведомыми путями должно было влиять на будущее его носителя. Имя отца звучало как Хайчэн, где «хай» (海) означало «море», а «чэн» (澄) — «хрустально-чистое».

Отец родился в семнадцатый день второго лунного месяца второго года правления Сюаньтуна (27 марта 1910 года). В соответствии

с китайским народным календарем этот день совпадал с весенним равноденствием, когда день равен ночи, а вся природа радуется пробуждению.



В деревнях считается, что дети, родившиеся в тот год, появились на свет, оседлав хвост дракона. И действительно — через восемнадцать месяцев в трехстах милях оттуда, в городе Учан, прогрессивные элементы из числа военных устроили переворот, положивший начало революции 1911 года. Вскоре южные провинции Китая стали одна за другой отделяться от империи Цин. В 1912 году империя Цин официально прекратила существование, а с ней закончился и двухтысячелетний период феодального самодержавия.

В глазах суеверных людей тяжелые роды были зловещим предзнаменованием. Через двенадцать дней, когда бабушка поправилась достаточно, чтобы принимать гостей, дедушка по тогдашним обычаям позвал предсказателя. Тот первым делом поинтересовался точным временем рождения ребенка, а потом спросил год, месяц, день и час рождения каждого из родителей. Затем он стал проверять координаты по большому компасу, который принес с собой.

После долгого и напряженного процесса сбора данных предсказатель огласил ошеломительный прогноз: новорожденный станет проклятием для родителей, и, если те вырастят его в своем доме, он «принесет родителям смерть». Они трактовали это так,

что ребенка должен растить кто-то за пределами семьи. Радость от появления младенца сменилась ужасом, что он может принести несчастье. Даже если мальчик доживет до совершеннолетия, поведал предсказатель, ему лучше никогда не называть родителей отцом и матерью — только дядей и тетей.

Серьезность и мрачные предчувствия прорицателя глубоко впечатлили моих предков. Его толкование ситуации казалось столь же прочным и незыблемым, как мебель вокруг, и это зловещее пророчество отпечаталось на судьбе моего отца, как родимое пятно.

Отец, конечно же, ничего не знал о визите вещуна. Он спокойно лежал в бамбуковой колыбельке, закутанный в одеяло, на котором были вышиты слова «Десять тысяч радостей», и лишь бугорок на голове напоминал о долгих и тяжелых родах.

Отец родился в семье землевладельца в деревне Фаньтяньцзян, что в северо-восточном уголке тогдашнего округа Цзиньхуа, входящего в приморскую провинцию Чжэцзян. Бабушка и дедушка умерли до моего рождения, но, судя по двум сохранившимся фото-портретам, они очень походили друг на друга. Если бы не борода деда, их было бы не различить: и у мужа, и у жены круглые лица, высокие лбы, зачесанные назад волосы и выпуклые глаза с чуть опущенными уголками. Аккуратная одежда, добрые лица.

В своей деревне примерно в сотню домов мой дед Цзян Чжунцзунь считался культурным человеком. Свой кабинет он называл «кабинетом стремления к совершенству» и развесил по нему свитки с написанной им самим каллиграфией, что подтверждало его тягу к саморазвитию. В гостиной висела деревянная табличка с вырезанной надписью: «Блаженство в семейных узах», что в целом отражало его взгляды.

Дед владел лавкой, торговавшей соевым соусом, и магазином, где продавались импортные продукты, и, помимо этих дел, он тратил много времени на то, чтобы следить за текущими событиями и читать новые книги. Он был подписан на *Шэньбао* — газету на китайском языке, которую основал живущий в Шанхае уроженец

Лондона. Если какой-нибудь житель деревни желал узнать, что творится в мире — например, каково положение дел на войне Китая с Японией, — он мог догадаться по одному только выражению лица моего деда. Дедушка также любил сосредоточенно изучать атлас мира, с интересом следил за новыми достижениями в прогнозировании погоды и читал «Эволюцию и этику» Томаса Гексли.

В деревне он считался сторонником реформ и одним из первых отрезал косу, бывшую символом подчинения ханьцев власти маньчжуров во времена Цин. Он разрешил женщинам своей семьи не бинтовать ноги и отправил двух дочерей учиться в христианскую школу, основанную Стеллой Релья — миссионеркой при Американском баптистском обществе иностранных миссий, которое в те времена насчитывало четверть миллиона последователей в Китае. Дед также состоял в Международном сберегательном обществе — французском банке в Шанхае. Доверить свои сбережения банку считалось тогда очень смелым шагом.

Моя бабушка, Лоу Сяньчоу, происходила из знатной семьи из соседнего уезда Иу. После моего отца она родила еще семерых детей, трое из них умерли в детстве, так что у отца было два брата и две сестры. Добросердечная и щедрая, бабушка часто угощала наемных работников то горстью дынных семечек, то арахисом. Студенты, жившие по соседству, заходили в их дом почитать газеты и журналы, а также поболтать с ней. Она не умела ни читать, ни писать, но декламировала по памяти некоторые стихи эпохи Тан и народные песенки, а также обладала необычайным чувством юмора.

В 1910-м, в год рождения моего отца, бабушке едва исполнился двадцать один. Империя Цин приближалась к закату своего правления, длившегося 266 лет, а в России оставалось всего семь лет до свержения монархии и прихода советской власти. В тот год умерли Лев Толстой и Марк Твен, а Эдисон в далеком Нью-Джерси к тому времени давно изобрел фонограф. В Сянтане, в провинции Хунань, семнадцатилетний Мао Цзэдун еще учился в школе, а его первая жена, выбранная родителями по договорному браку, умерла за

месяц до рождения моего отца. Но в Фаньтяньцзяне, как и многих других китайских деревнях, жизнь словно замерла, оставаясь ничем не примечательной и бесцветной.

Вскоре после того самого предсказания в одной крестьянской семье Фаньтяньцзяна родилась девочка, которую (по крайней мере, по одной из версий) сразу же утопила собственная мать, рассудив, что устроиться кормилицей в семью Цзян куда выгоднее, чем растить дочь, от которой мало проку в долгосрочной перспективе. Знаю, что звучит жестоко, но в те времена такое происходило нередко, да и сейчас случается.

Мать той малышки родилась в семье Цао из соседней деревни Даехэ (название переводится как «крупнолистный лотос»). Она попала в Фаньтяньцзян в качестве малолетней невесты одного из обедневших дальних родственников из большой семьи деда. Никто в Фаньтяньцзяне не потрудился узнать ее настоящее имя, и ее просто называли Даехэ — по названию ее родной деревни. Ей было тридцать три, когда она стала кормилицей моего новорожденного отца — таким образом она подрабатывала, чтобы обеспечить алкоголика-мужа и пятерых детей. Местные считали, что ей очень повезло так хорошо устроиться.

Дом Даехэ был в нескольких шагах от дома Цзянов. Он состоял из двух комнаток с низким потолком и почерневшими от кухонного чада стенами, где стояли деревянная кровать да колченогий квадратный столик. Между черепицами крыши проглядывало небо, а каменная плита снаружи служила ей сиденьем, на котором она кормила младенца.

В этом крошечном домике отец проводил все дни и ночи, за исключением Нового года и других важных праздников, когда родители на несколько дней брали его к себе в дом.

Владения семьи Цзян состояли из главного дома с пятью комнатами и пары двухэтажных флигелей из дерева с перекладинами, карнизами и окнами, украшенными резьбой с изображением символов удачи и исторических сцен. Приятный и тихий в любую

погоду дворик был вымощен темными плитами, а в каменной кадке у водосточной канавы росли орхидеи и декоративная спаржа. Дом деда и прилегающие к нему здания были выстроены в одном и том же стиле и из одних и тех же материалов. Среди них не было двух одинаковых, но строения тесно переплетались, подобно нитям парчовой ткани, образующим основу, суть которой — конфуцианство. В их композиции воплощались созидание и недюжинное мастерство, демонстрирующие заведенный порядок, передаваемый от поколения к поколению веками.

В доме Даехэ отец лакомился сладкими рисовыми лепешками, копченой свининой и хрустящей выпечкой, начиненной молодыми листьями горчицы, которую он обожал. А потом сидел у Даехэ на коленях у огня и слушал истории. Она была всецело предана ему, и стоило мальчику позвать ее, бросала все дела и заключала его в объятия, прижимая свое опаленное солнцем лицо к его бледному личику. Даехэ наполнила его раннее детство теплом и любовью.



Цзиньхуа, крупнейший город района, лежал в котловине, окруженной со всех сторон холмами и рассеченной двумя реками, которые в конце концов сливаются и текут на север. Фантяньцзян находилась в двадцати пяти милях к северо-востоку от Цзиньхуа,

на окраине уезда Иу. К северу от деревни виднелась Двуглавая гора, которая в определенном освещении озарялась теплыми красками. Из-под заросших колючками камней бил источник, а ниже по течению в глинистой почве, красной от оксидов железа, росли самые разные растения, в том числе бамбук, камфора, пихта и грецкий орех. Камелии, азалии, гранаты и османтусы также испещряли пейзаж.

Два древних камфорных дерева на пригорке встречали каждого, кто приходил в деревню. Понадобилось бы несколько человек, чтобы обхватить их необъятные стволы, а кроны за несколько столетий разрослись в широкий навес из листьев. В одном из деревьев было такое большое дупло, что дети забирались в него играть, а еще имелось углубление с прикрепленным изображением Будды. Жители деревни называли это дерево Бабулей и приходили к нему в поисках благословения для их детей.

Отец поздно произнес свои первые слова, а ходить начал лишь к трем годам — в деревне некоторые считали его дурачком. В четыре года пришла пора учиться, и дед забрал его от Даехэ обратно домой. Мальчик стал жить с родителями. В 1915 году, когда ему исполнилось пять, в деревне открылась частная начальная школа, где уроки вел учитель, искусный в живописи и ремеслах. Это пробудило у отца интерес к изготовлению вещей своими руками. Он сделал из дерева миниатюрный домик с открывающимися дверками и окошками и смастерил волшебный фонарь — затейливый, как калейдоскоп. Однажды зимой, когда мать дала ему угольную грелку, чтобы погреть руки, он взял ее и принялся раскачивать из стороны в сторону, отчего угли стали шипеть и потрескивать — к восторгу и удивлению младших детей. Видя, как увлеченно мой отец мастерил поделки, дед насмешливо говорил: «Может, отправить тебя к беднякам в рабочий дом?» В те дни ремесла не считались уважаемым занятием.

Находились у деда и другие причины для недовольства старшим сыном. Однажды воробей нагадил прямо деду на голову.

Тот счел это дурным знаком и, дав сыну деревянную миску, велел сходить к соседям за специальным травяным чаем, чтобы «отвести беду». Однако отец даже и с места не двинулся, сочтя, что подобное поручение ниже его достоинства. Возмущенный непослушанием сына, дед схватил чашу и так сильно ударил его по голове, что рассадил кожу до крови.

Тетя (жена старшего брата деда) пришла в ужас, отвела мальчика в сторонку и пожарила пару яиц, чтобы утешить. «Если он тебя в другой раз побьет, — сказала она, — пожарю еще яиц, идет?» Отец кивнул. А потом сделал запись: «Отец побил меня — вот дикий!» Дед обнаружил записку в одном из выдвижных ящичков и больше никогда не бил сына.

Детство отца никогда не было особенно счастливым, и чем дальше, тем напряженнее становились его отношения с родителями. Однажды отец сказал младшей сестренке: «Когда мама с папой умрут, я увезу тебя в Ханчжоу» (Ханчжоу — столица провинции Чжэцзян, расположенная в девяноста милях). Бабушка услышала это и позвала его в гостиную. Она взяла две связки монет из шкатулки с деньгами и повесила ему на шею со словами: «Если хочешь уехать, уезжай сейчас — нечего ждать нашей смерти». Пока мать отчитывала его, мальчик стоял молча. К тому времени он уже знал: однажды он уедет далеко-далеко, он увидит мир, такой, какого в его деревне никто никогда не видал, и побывает в таких местах, о которых деревенские даже не мечтали.

Вскоре после окончания Первой мировой войны, весной 1919 года, союзники встретились на конференции в Версальском дворце около Парижа, чтобы обсудить условия мирного договора, и Китай принимал участие в числе стран-победительниц. Но на Парижской мирной конференции проигнорировали требование китайской делегации о восстановлении территориальной

целостности, пожаловав вместо этого германские колониальные владения в Циндао и Шаньдуне Японии. Когда новости достигли Китая, по всей стране вспыхнули протесты.

Четвертого мая около трех тысяч пекинских студентов собрались на демонстрацию перед Тяньаньмэнь — величественными воротами у южного входа в Запретный город, — требуя защиты национального суверенитета и отстранения китайских чиновников, обвиненных в сотрудничестве с Японией. Эта волна национально-освободительных настроений, которую стали называть движением «4 мая», вскоре распространилась по всей стране. При этом китайские интеллектуалы, убежденные в необходимости культурных перемен в стране для искоренения отсталости и предотвращения дальнейшего унижения, стали агитировать за «господина Демократию» и «господина Науку» (обращение «господин» призвано было передавать почтительное отношение к наставнику), а также критиковать конфуцианство и традиционный нравственный порядок, лежащие в основе имперского правления. Они кричали: «Долой семейную лавочку Кунов!» (так пренебрежительно называли конфуцианскую идеологию*) — и призывали молодежь осознать, что Китай находится в кризисе, превознося свободу, прогресс и науку. Эти идеи уже влияли на местное образование в Цзиньхуа, и учебники в начальной школе, где учился отец, теперь прививали зачатки демократии и науки.

Вдохновившись Октябрьской революцией в России, группа китайских интеллектуалов во главе с Чэнь Дусю и Ли Дачжао стала пропагандировать марксизм-ленинизм. В июне 1921 года Ленин прислал в Шанхай делегата Коминтерна под псевдонимом Маринг для проведения первого съезда Коммунистической партии Китая (КПК). Подготовка к съезду проходила в тревожной и напряженной атмосфере, и ее перенесли подальше от внимательных глаз

* Конфуций — латинизированный вариант имени Кун-фу-цзы. Конфуций происходил из знатного рода Кун. — *Прим. пер.*

Гоминьдана на судно на озере Наньху в Цзясине, городе в шестидесяти милях от Шанхая.

Впервые в программе партии появились такие понятия, как рабочий класс, классовая борьба, диктатура пролетариата, упразднение системы капиталистической собственности и коалиция с Третьим Интернационалом. Документы съезда печатали на русском — возможно, из-за того, что китайских эквивалентов этих терминов еще не существовало. Помимо Маринга (голландского коммуниста, чье настоящее имя было Хендрикус Сневлит), присутствовал еще один иностранный делегат — советский гражданин Никольский, чья личность оставалась в тайне почти полвека, пока с подачи Горбачева российский архив не рассекретил его имя: Владимир Абрамович Нейман-Никольский. Обвиненный в шпионаже, в 1938 году по приказу Сталина он был расстрелян. Так началась долгая история Коммунистической партии Китая с ее взлетами и падениями.

В 1925 году в возрасте пятнадцати лет отца приняли в пансион Седьмой средней школы Цзиньхуа, расположенной в бывшем поместье одного из предводителей восстания тайпинов — величественном здании с просторным центральным залом. Это была школа для мальчиков, и большинство учеников происходили из семей обеспеченных мелких землевладельцев из близлежащих деревень. Под влиянием прогрессивных идей, захлестнувших страну, отец считал себя приверженцем западных демократических и республиканских ценностей и восхищался так называемой новой литературой — формой сочинительства, основанной на вернакуляре. Однажды на экзамене классу предложили написать эссе на классическом языке, а отец дерзко написал его на разговорном, озаглавив так: «У каждой эпохи — своя литература». Учителя это не впечатлило. «Незрелые идеи», — фыркнул он. Даже сегодня наивная отцовская проповедь литературы, подобающей своему времени, не снискала бы популярности.